

РУССКАЯ МЫСЛЬ

LA PENSÉE RUSSE

РЕДАКЦИЯ И КОНТОРА:
91, rue du Faubourg Saint-Denis,
PARIS-10°. TAF 13-16
«LA PENSÉE RUSSE»
C.C.P. 5883-11, PARIS.

Редактор
С. А. ВОДОВ

MARDI, JEUDI et SAMEDI

Выходит по ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ и СУББОТАМ

ОСНОВАТЕЛЬ В. А. ЛАЗАРЕВСКИЙ

Directeur
Serge VODOFF

Прием по делам Редакции и Конторы
ежедневно от 10 до 18 часов,
кроме суббот и воскресений.
В экстренных случаях
Звонить в типографию: MEN. 01-29

Антон Павлович Чехов

1860 - 1960

МНЕ пришлось встречать людей, ным образом, оттого, что он русский. не любивших Тургенева или Гончарова, даже Толстого, даже Достоевского.

Крупнейший русский писатель нашего времени говорил, что «Достоевский сует Христа во все свои бульварные романы», другой русский писатель считает Толстого «раздутой посредственностью» и предпочитает «Войне и Миру» «Тысячу душ» Писемского.

Да мало ли какие невероятные мнения мне еще приходилось слышать.

Но Чехов... На Чехове сходятся решительно все. Чехова любят все — без исключения. И русские, и иностранцы.

Нет, я не собираюсь исследовать причины этой всеобщей любви. Я хочу только привести несколько примеров этой любви, вернее обожания.

В 1945 году один из профессоров временного американского Университета в Биаррице в разговоре со мной заявил, что «величайшие шедевры драматического искусства — «Буря» Шекспира и «Вишневый сад» Чехова.

Заметив мое удивление, он перебил себя: — Как? Вы не согласны? Неужели вы не считаете «Бурю» мировым шедевром?

То, что я могу не считать мировым шедевром «Вишневый сад», ему даже в голову не пришло.

В конце 20-х годов я познакомилась со старым английским писателем О'Суливером, хорошо знавшим когда-то Оскара Уайльда. Был он дружен и с Кэтерин Мансфилд. О'Суливер еще до революции провёл целый год в Москве и Петербурге, и это особенно сблизило с ним Кэтерин Мансфилд, боготворившую Чехова и все русское.

Она часами задавала О'Суливеру самые неожиданные вопросы. Похожи ли русские извозчики лошади на пряничных лошадок, и очень ли у них задумчивый вид? И видел ли он русских женщин, которые от скуки решают арифметические задачи? И много ли чаек в Петербурге?

Узнав, что чайку он видел только одну, да и ту в Москве на занавесе Художественного Театра, Кэтерин Мансфилд огорчилась. — Неужели? А я воображала, что они летают над Невой. Как жаль...

Она заставляла его читать ей Чехова вслух и слушала его с закрытыми глазами, «как музыку». Впрочем, иначе, как музыку, его и слушать было невозможно, — он ни одного слова не произносил правильно.

Заставляла она читать себе Чехова и доктора И. И. Манухина, у которого лечилась, веря, в него, глав-

Кэтерин Мансфилд, такая бездомная, вечно переезжавшая из страны в страну, из города в город, из квартиру в квартиру, из пансиона в пансион, всю свою короткую жизнь мечтала о собственном доме, о том, как будет обставлена каждая его комната, какие будут ковры, занавески на окнах, зеркала и картины, и медвежья шкура перед камином. Она знала все деревья и цветы «своего» сада и всех «своих» птиц, поющих в нем. Ее желание, как в насмешку, сбылось после ее смерти. Дом в Ментоне, где она снимала комнату превратился в ее собственный дом — в Музей Кэтерин Мансфилд.

В этом ее будущем собственном доме, ее как-то навещил О'Суливер, приехавший к ней из Монте-Карло.

В этот день она, после бессонной ночи, чувствовала себя особенно плохо. Глаза ее горели от жара и лицо казалось прозрачным, будто оно светилось изнутри. Она, против обыкновения, говорила очень много, взволнованно и то-ропливо. И как всегда о Чехове.

— Знаете, я почти примирилась с болезнью. Ведь у него тоже была чахотка, как у меня. Ведь и он прошел через все это. Он мне еще ближе, еще понятнее. Здоровый вряд ли мог так правильно, так тонко и правдиво все увидеть, почувствовать. И передать.

Она привычным жестом нервно приглаживала свою спускающуюся до бровей незавитую челку.

— Может быть и мне еще многое откроется. Если я буду работать. И

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

проживу столько лет, как он. Если проживу... — Но через год ее уже не было в живых...

Знала я и другую англичанку, в жизни которой Чехов сыграл решающую, даже роковую роль. Она принадлежала к тому типу, о котором принято говорить: «Если англичанка красива, что встречается

крайне редко, то красивее ее ничего и вообразить нельзя».

К тому же была фрейлиной королевы Александры, жены Эдуарда VII, и вышла замуж за лорда, увезшего ее в Индию, где он занимал чуть ли не первое место после вице-короля. Жизнь ее проходила, как ей и полагалось, беспечно, в непрерывных пышных празднествах тысячи одной индийской ночи и стольких же дней.

Без огорчений. Без болезней. Без любви. Любовь пугала ее не меньше болезни и бедности.

Своего чувства к мужу даже она никак не могла назвать любовью и была очень довольна этим. Но однажды, вернувшись с раута, она нашла на своем ночном столике только что прибывший по почте из Лондона модный роман и томик рассказов Чехова.

— В эту ночь, — рассказывала она мне, много лет спустя, — жизнь моя переломилась. Утром из моей спальни вышла не та я, что ночью вошла в нее. Я только по внешности осталась та же. Мне было странно, что никто не замечал происшедшей во мне перемены. Чехов открыл мне глаза. Я впервые по-

няла, что я живая женщина, а не разряженная восковая кукла, отражающаяся в зеркалах. И что я, как и все — умру. Я впервые увидела ясно все вокруг — и главное себя. И ужаснулась.

Но стать прежней я уже не могла. Даже если бы хотела.

Из-за Чехова она развелась с мужем. Из-за Чехова стала одной из первых женщин-пилотов, пела два сезона в Опере в Германии, отправилась в 14-м году на фронт сестрой милосердия и даже была ранена, объездила почти весь мир в качестве корреспондентки газеты, которую собиралась издавать, и трижды — каждый раз по страстной любви, выходила замуж, чтобы, наконец, на старости лет узнать радость одинокой холостой жизни — все из-за Чехова.

Но когда я стала ее допрашивать, какой же именно рассказ толкнул ее на ее романтически бурный путь, и где она нашла у Чехова такой ошеломляющий призыв к бунту, она покачала своей красивой седой головой и рассмеялась.

— Не знаю. Я поняла, что мне придется умереть. Что я несчастна от того, что никогда не знала ни настоящего горя, ни настоящей радости. Я как будто читала между строк. Все было обо мне. Каждый рассказ требовал от меня, чтобы я начала жить. И я не могла бороться. Я послушалась Чехова.

Мы сидели вдвоем за неизбежным пятичасовым чаем, располагающим к интимным разговорам и признаниям. И я решилась спросить ее.

— А вы никогда не жалели, что прочли в ту ночь Чехова?

И она, такая по-английски выдержанная и воспитанная, вдруг резко перегнулась через столик и схватила меня за руку.

— Неужели вы не понимаете! Это было величайшее счастье моей жизни!..

И последний случай. Уже не с англичанкой, а с француженкой. У нее умер сын. Она была вдова, и, кроме ее сына, для нее на свете никого и ничего не существовало. Горе ее увеличилось еще тем, что она считала себя косвенно виновной в его смерти — в том, что растерялась, не сумела сделать всего, что надо, не сумела его спасти. Она беспрерывно мучилась, ни о чем другом не могла думать. В особенности ночью. Даже во сне она ни на минуту не могла забыть.

Но однажды ей приснилось, что она сидит в своей комнате в кресле у окна и все вокруг как-то удивительно спокойно. Сквозь особенно прозрачное, чисто вымытое оконное стекло она видит знакомые крыши и край облака, освещенного заходящим солнцем. И все так необычайно спокойно и ясно. И ей необычайно легко дышать. Она хочет понять, отчего ей так легко и спокойно, и видит, что у

нее лежит на коленях книга и на обложке напечатано: Чехов.

— Чехов, — произносит она. И просыпается.

Но сон этот она запомнила. И через неделю, проходя мимо книжного магазина, зашла и купила Чехова.

— Вы вряд ли поверите мне, — рассказывала она мне через год, — но, вернувшись домой, я села в кресло у окна, как в моем сне. И действительно, снова испытала все то, что во сне, читая Чехова. И вот я начала мало-помалу успокаиваться, оживать. Я как будто нашла утешение. Сознание, что счастья на земле нет. Что горе и смерть всюду. Что это законно и естественно. Я поняла, что горе и смерть не мешают жизни. Чехов помирил меня с Богом: я снова могла молиться. Когда я все реже и реже попрежнему приходила в отчаяние и плакала, мне стоило только открыть Чехова наугад и прочесть несколько страниц, чтобы испытать чувство покоя. Я закрывала книгу, я закрывала глаза, а чувство покоя не исчезало. Я не помню, кто сказал, что тишина после того, как слушаешь Моцарта, совсем особенная, моцартовская тишина. Но это правильно и о Чехове. После того, как читаешь Чехова, наступает особенный, светлый, примиряющий чеховский покой. Нет более утешающего, более близкого Богу писателя, чем Чехов. Видите, я даже опять могу улыбаться.

И она действительно улыбнулась «грустной и светлой чеховской улыбкой».

Ирина Одоевцева